

Л

ВЛАДИМИР ФЕЩЕНКО

ЛАБОРАТОРИЯ ЛОГОСА

ЯЗЫКОВОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
В АВАНГАРДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ



Владимир Фещенко

**Лаборатория логоса.
Языковой эксперимент в
авангардном творчестве**

«Языки Славянской Культуры»

2009

Фещенко В. В.

Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве / В. В. Фещенко — «Языки Славянской Культуры», 2009

Монография посвящена вопросам языкотворчества в поэзии и прозе русского и англоязычного авангарда, а также связи с этими проблемами с параллельным научным экспериментом в теоретической поэтике, лингвистике и философии языка. Содержание данной работы представляет интерес не только для лингвистов-теоретиков и филологов, но также и для широкого круга заинтересованных читателей, для которых вопросы языкового творчества и новаторства в мышлении, словесности и искусстве не являются праздным и посторонними.

© Фещенко В. В., 2009

© Языки Славянской Культуры, 2009

Содержание

От автора	5
Вводные замечания	15
Глава 1	19
§ 1. «Языковой поворот» и «поворот к Логосу» в философии, семиотике и лингвистике рубежа XIX–XX вв	19
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Владимир Валентинович Фещенко

Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве

От автора

Предлагаемая читателю книга в основной ее части восходит к диссертации «Языковой эксперимент в русской и английской поэтике 1910—30-х гг.», защищенной автором по лингвистической специальности «Теория языка». Несмотря на это последнее обстоятельство, автор смеет надеяться, что содержание данной работы представляет интерес не только для лингвистов-теоретиков, но также и для широкого круга заинтересованных читателей, для которых вопросы языкового творчества и новаторства в мышлении, словесности и искусстве не являются праздными и посторонними. Языковая деятельность сопутствует любому виду человеческого общения и творчества, даже тем видам, которые на первый взгляд не связаны с языком; поэтому, как представляется, языковая проблематика, обсуждаемая в данном исследовании, находится на пересечении многих сопряженных областей культурной жизнедеятельности.

Теоретическая база работы, кроме того, позволяет от рассмотрения исторического плана проблемы – им является эпоха так называемого исторического авангарда¹ («постсимволизма») – перебросить мост на внеисторический план, при котором авангардное творчество понимается как специфическая модель языковой креативности и культурного поведения. Авангардное мышление, авангардное сознание и авангардное поведение при таком подходе могут служить камертоном истолкования языковых и культурных феноменов разных исторических вех – в том числе нашей непосредственной современности – и различной дисциплинарной и профессиональной принадлежности.

Авангард принято противопоставлять арьергарду, классическому искусству, всему традиционному и каноническому. Однако и по сей день такие оценки по отношению к конкретным явлениям искусства и культуры остаются по большей части интуитивными, неотчетливыми и не основанными на каких-либо принципах, причем не только в «наивном» обывательском сознании, но и в научных изысканиях. Зачастую под авангардом фигурально обозначается любое новомодное течение или экстравагантная крайность в искусстве и за его пределами. При этом размываются границы между столь различными явлениями, как китч, масскульт, мода, эпатаж, с одной стороны, и авангард, экспериментальное искусство, андеграунд, нонконформизм, независимая культура (ср. с таким понятием англоязычной музыкальной культуры, как *indie*) – с другой. При характеристике того или иного явления как авангардного обычно обращают внимание на его формальную сторону, на то, как оно воздействует на адресата своей необычностью и броскостью. Между тем до сущностных особенностей авангардной ментальности, как правило, дело исследователей, критиков и обычной публики не доходит.

В то же время нельзя не отметить, что спорадические попытки сущностного обоснования понятия авангарда предпринимались, что любопытно, еще задолго до начала периода

¹ В существующих исследованиях термин авангард во всех случаях употребляется со строчной буквы. У нас же везде далее – Авангард с прописной буквы употребляется как обозначение эпохи (ср. Античность, Средневековье, Серебряный век и т. д.) и относится к так называемому историческому авангарду 1910—30-х гг.; чтобы отличать данный историко-культурный термин от соответствующего термина теоретико-культурного, внеисторического и общепринципиального, последний дается с прописной буквы, как авангард. Мы следуем в этом Ю. С. Степанову, считающему, что «у Авангарда нет „истории“, а есть точки – прорывы из ментальной эволюции в материальную реальность» [Степанов 2004с]. Однако нами термин Авангард (с прописной) употребляется к тому периоду, в котором эти прорывы осуществлялись в массовом порядке. Ср. также с западными спорами на эту тему в [Weightman 1973]; [Bäckström 2001].

«исторического» авангарда. Так, во французском художественном контексте слово авангард бытовало уже с первой трети XIX века. Впервые это употребление встречается у французского общественного деятеля О. Родригеса в его эссе 1825 г. «Художник, ученый и рабочий», в котором тот призывает художников «стать в авангарде человечества», ибо «искусство обладает силой скорости и непосредственности», которая так необходима в социальных, политических и экономических реформах. Этот призыв – сознательно или бессознательно – был взят на вооружение французскими художниками-импрессионистами. И хотя серьезного значения понятию «авангард» в то время все же не придавалось, именно из среды художников и художественных критиков он переключался в дальнейшем в эссе американского искусствоведа К. Гринберга «Авангард и китч» 1939 г. Именно в этой работе, уже на исходе «исторического» бытования авангарда, это понятие приобрело статус термина, отграничивающего его от прочих моделей в культуре (арьергарда, китча, масскульта, классического искусства). Примерно в те же годы чешский лингвист, семиотик и философ Я. Мукаржовский в своей статье «Основные принципы авангарда» сформулировал ряд структурных особенностей и тенденций авангардного искусства, отметив в качестве его закономерности стремление к взаимопроникновению и скрещиванию разных художественных практик. В дальнейшем, в 1950—80-е гг., стали преобладать те «теории авангарда», которые делали акцент на социальных, идеологических и психоаналитических параметрах авангарда (Р. Поджоли, П. Бюргер, Ю. Кристева). И хотя предметом их интереса становилась особая авангардная ментальность и даже – в случае с Кристевой – языковая революционность, систематического обоснования природы авангардного творчества в указанных концепциях не обнаруживается.

У нас в стране попытки общекультурного осмысления авангардного наследия – преимущественно отечественного, русского – стали предприниматься только в самое последнее время. Что не удивительно, ибо значительная доля этого наследия только в 1990-е гг. была извлечена практически из небытия и введена в активный оборот. Среди авторов, систематически изучающих в настоящее время историю русского авангарда не без попыток концептуализации самого феномена, необходимо назвать таких исследователей, как Д. Сарабянов, В. Турчин, А. Якимович, Е. Бобринская, И. Васильев, И. Сахно, И. Иванюшина, Т. Казарина, Ю. Гирин и др. Однако выходы на теоретические и концептуальные обобщения здесь достаточно окказиональны – больше видна сосредоточенность на конкретных фактах и связях исторического плана. Разумеется, не стоит умалять вклад в осмысление авангарда, вносимый проводящимися время от времени научными конференциями. Особо хотелось бы отметить три мероприятия последнего времени, на которых теоретические вопросы авангардоведения занимали не последнее место – семинар Пушкинского Дома «Русский литературный авангард – от границ явления к границам термина» в Санкт-Петербурге (материалы на данный момент готовятся к печати); круглый стол московского Никитского клуба на тему «Мир вокруг нас: авангард и традиции в единстве и противоречии» (см. издание материалов: Никитский клуб. М., 2006); а также российско-французский colloquium «Утрата оснований: Авангард и современное искусство», имевший место в Государственном центре современного искусства в Москве (первые два имели место в 2005 г., последнее – в 2008-м).

Лишь в трех отечественных работах самых последних лет нам видится прецедент «теоретического поворота» в авангардоведении. Во-первых, упомянем основательную работу Н. Сироткина «Проект семиотической теории авангарда» (2003, не издана), название которой говорит само за себя. В данном исследовании на материале поэзии русского и немецкого авангарда применяется учение о знаке Ч. Пирса. Во-вторых, представляет интерес новейшая книга известного поэта и культуролога С. Бирюкова «Авангард: модули и векторы» (2006), содержащая определение авангарда как «системы напряженного авторского отношения с языком». Хотя этот тезис автора выглядит несколько импрессионистичным и иллюстрируется скорее в историко-культурном аспекте, сам аргумент о внеисторичной природе авангарда доказывается

достаточно убедительно. Наконец, стоит отметить совсем недавнюю (2007 г.) работу А. Черныкова «Метаязыковая рефлексия в текстах русского авангардизма 1910—20-х гг.», защищенную в качестве диссертации, в которой на солидной лингвистической основе осуществляется анализ метаязыковой рефлексии в так называемой поэтической филологии авангардизма.

Хотелось бы отдельно выделить опыт теоретической рефлексии об авангарде у двух современных западных ученых. Первый из них представлен в книге французского философа и историка искусства Ф. Серса «Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного» (2001, изд. на рус. 2004). Авангардные течения первой половины XX века автор определяет как «радикальный» («первоначальный», «основополагающий») авангард, пытаясь на различном материале сформулировать «глубинное единство авангардистской позиции» и проанализировать «мыслительный механизм», способ познания, свойственный авангардному движению. Такой ракурс позволяет в достаточной мере теоретизировать авангард *sui generis* – как общекультурное явление, по целому ряду оппозиций дифференцируемому от других систем мышления, таких как тоталитаризм и коммерческое искусство. Сходную задачу по определению сущности авангардного мирозерцания ставит себе чешский семиотик и авангардовед М. Грыгар, следующий в своих исследованиях идеям своего старшего соотечественника Я. Мукаржовского. Если Ф. Серс придерживается философско-аналитического типа рассуждения об авангарде, то чешский ученый в своей программе реализует последовательный структурно-семиотический метод, разрабатывая «семиотическую модель авангарда». В работах, собранных в русском издании М. Грыгара (Знакотворчество: Семиотика русского авангарда. СПб., 2007), различные авангардные манифестации рассматриваются как проявление общей для всего авангарда модели художественных систем и коммуникации.

Учитывая перечисленные выше теоретические шаги, мы в настоящей работе задаемся целью, не забывая о целостности и многообразии авангардной модели мира и творчества, сузить фокус внимания до лингвосемиотического и лингвофилософского взгляда на сущность авангардного *modus vivendi*, *modus operandi* и *modus loquendi*. В качестве базового концепта, служащего инструментом в описании заявленной проблемы, мы принимаем понятие «языкового эксперимента». Авангардное творчество рассматривается при этом с точки зрения его экспериментально-лингвистической составляющей. На примере языковых преобразований, фиксируемых на различных уровнях словесного материала в авангардной поэтике, нами описывается феномен языкового эксперимента как всеохватывающего процесса семиотической трансформации наличного языка (литературного, поэтического, художественного), ведущего к трансформации способа познания мира, стоящего за этим языком.

Указание на экспериментальную природу авангардной революции присутствует в названиях некоторых изданий по русскому авангарду, вышедших за рубежом в последние десятилетия, см, например: *Shadowa L. A. Suche und Experiment. Aus der Geschichte der russischen und Sovjetischen Kunst Zwischen 1910 und 1930. Dresden, 1978*; *The Great Experiment: Russian Art 1863–1922. L., 1962*; *The Russian Experiment in Art, 1863–1922. N. Y., 1986*; *Stites R. Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. N. Y; Oxford, 1989*; *Laboratory of Dreams: The Russian Avant-Garde and Cultural Experiment. Stanford, CA, 1996*. Эпохой «творческого эксперимента» назвал этот период в истории культуры авторитетный английский филолог-классик Сесил Морис Боура еще в 1940-х гг., на самом исходе периода (*Bowra C. M. The creative experiment. L., 1949*). В этих изданиях уже присутствуют важные положения о близости художественной и научно-исследовательской деятельности в эпоху исторического русского авангарда. Однако аналогии между наукой и искусством здесь лишь намечаются, но не подводят к главному принципу, связывающему эти две области в единый авангардный творческий опыт. Мы полагаем, что общим знаменателем, через призму которого возможен анализ художественных и научных практик в «эпоху поиска и эксперимента», является понятие языкового эксперимента.

На волне сближения методов науки и искусства в начале XX в. проблематика эксперимента возникает одновременно в различных гуманитарных науках – эстетике, стилистике, поэтике и лингвистике. Эксперимент выступает как принцип опытной, целенаправленной обработки материала (в данном случае – языкового материала), смыкаясь по своим формальным и функциональным признакам с художественным экспериментом в поэзии и прозе. Языковой эксперимент определяется нами как языковая деятельность по исследованию возможностей языка, при этом как эстетических возможностей, так и эвристических. Эксперимент как метод представляет собой системное явление, основанное на качественном изменении исходного языкового материала, на смещении языковых пропорций в его структуре, с целью его преобразования.

Эксперимент в области словесного творчества, заявивший о себе в первые десятилетия двадцатого века, мы рассматриваем в рамках *авангардной формации* (термин введен А. Флаккером, см., например, [Glossarium der russischen Avantgarde 1989]) – целостной культурной среды, охватывающей собой в одно и то же время и обширные факты *поэтического языка* (символизм, кубизм, кубофутуризм, бюджетлянс-тво, вортицизм, конструктивизм, абсурдизм), и сопутствующие им факты *художественного языка* – от живописи (М. Матюшин, П. Филонов, В. Кандинский) до музыки (А. Скрябин, А. Авраамов, А. Лурье), и *теоретические концепции*, направленные на осмысление этих фактов (научная поэтика и искусствознание, экспериментальная лингвистика и стилистика, художественная семиотика). Все перечисленные области функционирования языкового эксперимента как своего рода «меры» авангардного творчества служат предметом рассмотрения в предлагаемом исследовании.

* * *

В заглавие книги, помимо собственно ее темы, мы сочли нужным включить одну основополагающую метафору-формулу, риторически обрисовывающую главный сюжет предпринятого исследования, – Лаборатория логоса.

Эксперименты, как известно, ставятся либо в лаборатории, либо в полевых условиях. Тот грандиозный языковой эксперимент, который был поставлен в авангардную эпоху, в качестве «лаборатории» и «полевых условий» рассматривал не просто лист бумаги, мастерскую художника или киностудию (см. книгу о русском конструктивизме: *Лаврентьев А. Лаборатория конструктивизма. Опыты графического моделирования*. М., 2000). Лабораторией был для авангардного художника, без преувеличения, весь мир, вся окружающая реальность. По мнению Дж. Боулта и О. Матич, составителей упомянутого выше сборника *Laboratory of Dreams*, творчество было для художника авангарда «лабораторией мечтаний». Без сомнения, фантастичность, утопичность мышления была присуща большинству авангардных начинаний (см. работу немецкого ученого: *Langer G. Kunst – Wissenschaft – Utopie. Die «Ueberwindung der Kulturkrise» bei V. Ivanov, A. Blok, A. Belyj und V. Chlebnikov*. F. am M., 1990; совсем недавно (в 2008 г.) вышедшую в Белграде книгу сербской исследовательницы Амры Латифич «Парадигмы русского авангарда и постмодернистского искусства», соответствующие главы которой посвящены проблеме русской авангардной утопии; а также каталоги известных международных выставок русского авангарда: *Die Konstruktion der Utopie: ästhetische Avantgarde und politische Utopie in den 20er Jahren*. Marburg, 1992 и Великая утопия. Русский авангард 1915–1932: Каталог выставки. М., 1993), но не утопичен ли заведомо любой эксперимент, который ставит ученый-естественник в своей лаборатории? Ведь любой эксперимент – научный либо художественный – это, пользуясь фразой из Маяковского, – «езда в незнаемое». Для русских футуристов лабораторные искания были неразрывно связаны с выходом в окружающий мир, в творчество «на улицах» (см. статью Давида Бурлюка «От лаборатории к улице (эволюция футуризма) // Творчество (Владивосток), № 2, 1920»), Авангардный эксперимент, как видится,

заклучался в том, чтобы заглянуть за пределы наличного опыта, познать скрытые законы устройства мира. Языковой эксперимент как составляющая авангардного творчества ставит себе целью заглянуть за границы языка, чтобы познать скрытую за языком бездну реальности. Тайна логоса, скрытая за покровом языка, – вот что увлекло за собой сразу целую генерацию экспериментаторов, практиков и теоретиков художественного слова первых десятилетий XX века.

В силу всеохватности языкового эксперимента в авангардном творчестве, предметом опытной обработки могли становиться самые разные лингвистические и семиотические категории. Если на раннем этапе русского авангардного символизма и футуризма внимание было обращено к отдельному слову (слово-символ, слово как таковое, словотворчество), а на более позднем – к языку как универсальной системе знаков (языкотворчество, «звездный язык», «азбука ума»), то к 1930-м гг. «осаде» и сомнению подверглась сама способность языка выражать содержание мира, сами механизмы смыслообразования оказались под вопросом (бессмыслица, «немой язык», абсурд). В англоязычном авангарде были представлены два полюса – один из них можно назвать «максималистским» (вавилонская поэтика Дж. Джойса), а другой – «минималистским» (ритмическая грамматика Г. Стайн). У каждого автора на первый план выступает тот или иной аспект или уровень языкового эксперимента, но в целом можно сказать, что сущность авангардного поиска состоит в переосмыслении всех категорий языкового выражения. Подобный процесс наблюдается и в современной авангарду философии языка – фактически именно в этот период лингвистика впервые формирует свой категориальный аппарат, делая язык полноценным и независимым объектом исследования.

Многообразие авангардного опыта в его языковой реализации может быть передано только в каком-то синтетическом общем понятии, которое включало бы в себя частные понятия, такие как язык, слово, образ, понятие, смысл, мысль, сознание и т. п. Таким сверхпонятием как раз и является *логос*, в своем изначальном древнегреческом синкретичном многообразии значений. Согласно словарю, слово *logos* могло принимать в греческом языке одновременно такие значения, как слово, речь, высказывание, предложение, смысл, знак, понятие, суждение, разум, сознание. В целом *логос* понимался в древнегреческой философии как некоторый разумный принцип бытия, как формообразующая субстанция, определяющая строй всех вещей, мыслей и чувств. Не случайно одним из значений этого слова было «числовое отношение»: «число», «мера», «счет», «ритм», «отчет» (*lógon didónai* – «отдавать отчет»). Как поясняет С. Аверинцев, «логос – это сразу и объективно данное содержание, в котором ум должен „отдавать отчет“, и сама эта „отчитывающаяся“ деятельность ума, и, наконец, сквозная смысловая упорядоченность бытия и сознания; это противоположность всему безотчетному и бессловесному, безответному и безответственному, бессмысленному и бесформенному в мире и человеке» (из статьи в Большой Советской энциклопедии). Понятно поэтому, почему это слово могло принимать столь разноликие смыслы, скрепленные тем не менее в сознании древних греков единым прототипическим значением. И «язык» – лишь одно из производных значений «логоса». Как красноречиво выразился в этом отношении Х.-Г. Гадамер, у древних греков «язык заложен в логосе» («Истина и метод», глава «Язык и логос»).

Гераклит, введший термин *логос* в философию, изображает его как ту субстанцию, познание которой требует совершенно особых усилий и предполагает изменение обыденных установок сознания. Об этом важнейший фрагмент Гераклита, переделанный Секстом Эмпириком: «Хотя этот логос существует вечно, люди не понимают его – ни прежде, чем услышат о нем, ни услышав впервые. Ведь все совершается по этому логосу, а они уподобляются невеждам, когда приступают к таким словам и к таким делам, какие я излагаю, разделяя каждое по природе и разъясняя по существу. От остальных же людей скрыто то, что они делают бодрствуя, точно так же как они свои сны забывают». Уже у древнегреческого философа обозначается тот фундаментальный разрыв, который в ситуации авангарда начала XX в. приобретет особую силу – раз-

рыв между словом обыденным, понятным, и словом запредельным, непонятным, тем, которое необходимо постичь. Вообще логос понимается в древнегреческой и – позднее – в средневековой философии как глубочайшее единство слова и мысли и находится в сердцевине дискуссий о соответствии языка и мышления, объекта и его сущности. А. Ф. Лосев отводит центральное место связи между внутренней и внешней стороной языкового знака в определении понятия логос: «Логос – неперебиваемый и один из самых оригинальных и популярных терминов античной и средневековой философии, обозначающий такое единство мышления и языка, которое доходит до их полного тождества. Условно и описательно его можно было бы перевести „мысль, адекватно выраженная в слове и потому неотделимая от него“ или „слово, адекватно выражающее какую-нибудь мысль и потому от нее неотделимое“. <...> Вообще же ни при каком контексте нельзя забывать указанного глубочайшего единства мысли и слова» (Лосев А. Логос // Философская энциклопедия. Т. 3. М., 1964. С. 246–247), см. также статьи: Раков В. П. Миф, меон и логос: (Риторическое слово в художественных произведениях и письмах А. Ф. Лосева из лагеря) // «Серебряный век». Потаенная литература: Межвуз. сб. науч. тр. Иваново, 1997; и Денис М. От науки о логосе к топологии двух видов познания // Вестник Московского ун-та. Сер. 7. Философия. 2003, № 1. Диалектика слова и мысли станет в творчестве авангарда ключевой константой, определяющий поэтики различных направлений и авторов. Логос как речь самой природы, скрытой сущности мира, – «глагол, растящий сам себя» – окажется в новом авангардном сознании искомой первореальностью, с помощью которой станет возможным преобразование привычного мира (ср. у Хлебникова: «Слово управляет мозгом, мозг – руками, руки – царствами»).

Дальнейшая, послегераклитовская эволюция концепта «логос» утрачивает свое онтологическое содержание. Однако стоицизм возвращается к понятию логоса как единого начала всех явлений мира. Здесь же появляется и значение логоса как *logos spermatikos*, как творчески-созидающего принципа. Логос у стоиков – творческая идея вещей, «провидящее слово», которое мы находим позже в книге Бытия и псалмах (см. об этом у Ю. С. Степанова в статье «Слово» со ссылками на Н. Лосского и С. Трубецкого – Константы: Словарь русской культуры. 3-е изд. М., 2004. С. 381–400). Отсюда остается лишь один шаг до учения о Логосе в христианстве, определяемого начальными словами Евангелия от Иоанна «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Логос переосмысливается уже как слово личного и «живого» бога, окликавшего этим словом вещи и вызывающего их из небытия. Отождествление Логоса со второй ипостасью Бога – «Богом-Сыном» – вносит в это понятие важный персоналистический момент, который в русском религиозном ренессансе и авангардном жизнестроительстве XX в. будет играть определяющую роль. С одной стороны, это выразится в деятельности имяславского движения и в жарких спорах о тезисе «Имя Божие есть сам Бог» (более светское, лингвофилософское преломление которого зафиксировано в формуле П. Флоренского «Слово есть сам говорящий»), с другой же стороны – в философии слова как личности и личности как слова, в разных своих вариантах проявившейся у целого ряда теоретиков и практиков авангарда (ср. у А. Белого: «Ибо я – слово, и только слово»),

В начале XX века в русской философской мысли наблюдается новый значительный «поворот к Логосу». Большое влияние оказывают книга богослова М. Муретова «Философия Филона Александрийского в отношении к учению Иоанна Богослова о Логосе» (М., 1885), и книга С. Трубецкого «Учение о Логосе в его истории» (1900, опубл. 1906). Намечаются две линии противостояния: с одной стороны, православно-религиозная (В. Эрн, П. Флоренский), с другой – научно-рационалистическая, ориентированная на западную философию (Б. Яковенко, А. Белый, Ф. Степун – см. статью последнего: *Степун Ф. Логос* // Труды и дни. 1912. № 1).

Последняя линия группировалась вокруг журнала «Логос», выходившего в 1910–1914 гг. в России, а также вплоть до 1930-х гг. в Германии, Чехии и Италии и под знаменем понятия

логоса стремилась поставить философию на рельсы строгой науки, свободной от внефилософских влияний. Настаивая на автономии философского знания, идеологи этого направления тем не менее мыслили философию как синтетическую область человеческого духа, опирающуюся на широкий культурный фон, включающий в себя науку, искусство, общественную мысль и религию (см. подробнее в сборнике материалов: «Логос» в истории европейской философии: Проект и памятник. М., 2006). Хотя понятие логоса, вынесенное в заглавие журнала, само по себе не получило развития на страницах данного издания, оно несомненно держалось в уме авторами и редакторами как символ синтеза, выраженного в стремлении философски понять и словесно изобразить многообразный живой опыт современности.

С противоположного – православно-религиозного – крыла сразу же после появления в печати первых выпусков «Логоса» раздается боевой возглас в защиту христианского понимания Логоса. В статье В. Эрн «Нечто о Логосе, русской философии и научности» (1910), а затем в его же книге, характерно названной «Борьба за Логос» (1911), рационализму «западников» противопоставляется «логизм», исконно присущий, по мнению автора, русскому православному мирозерцанию. На вооружение Эрном берется «божественная» концепция Логоса, ведущая к ап. Иоанну и Филону Александрийскому. «Λόγος, – пишет Эрн, – это предвечное определение Самого Абсолютного. <...> Бог, непостижимость Которого даже над новой землей грядущего Царства навеки раскинется *таинством* нового неба – Бог христианства *изначально* был Логосом εν αρχη ην ο Λόγος. Предвечно сущее Слово, Которое Само о Себе говорит: Аз есмь сый, явилось тем творческим принципом, в Котором и Которым сотворено все сущее. Вселенная, космос, есть раскрытие и откровение изначально сущего Слова. Будучи этим раскрытием и откровением, мир в самых тайных недрах своих „логичен“, т. е. сообразен и соразмерен Логосу, и каждая деталь и событие *этого* мира есть скрытая *мысль*, тайное движение всепроникающего божественного Слова. Логос как начало *человеческого* познания не есть Логос другой, отличный от Логоса существенно-божественного. Это *тот же самый* Логос, только в разных степенях *осознания*». Таким образом, логология христианской традиции здесь выступает в поддержку «логизма» как иррационального опыта познания мира в противовес «логицизму», отрицающему божественный промысел в пользу рационального метода постижения реальности.

Столкновение двух противоборствующих линий интерпретации логоса/Логоса² в русской культуре начала XX в. свидетельствует о том, что это понятие, восходящее, с одной стороны, к древнегреческой мысли, и с другой – к христианскому учению о Боге-Логосе, оказывается на перекрестке многих, порой самых непримиримых, гуманитарных дискуссий того времени (см. работу: *Боневская Н. К.* Борьба за Логос в России в XX веке // Вопросы философии. 1998. № 7, в которой, в частности, приводятся взгляды немецкого философа Р. Штейнера на Логос как космическое Слово, повлиявшие впоследствии на эволюцию логологии А. Белого; ср. также о современном состоянии дискуссий о Логосе в философии в критическом обзоре: *Гальцева Р.* Борьба с Логосом. Современная философия на журнальных страницах. Предварительные итоги XX века // Новый мир. 1994, № 9). Согласно Т. Зейфриду, течения мысли первых десятилетий XX в. образуют «русскую культуру Логоса» (см. главу «Русская культура Логоса в начале XX в.» в книге: *Seifrid Th.* The Word Made Self. Russian Writings on Language, 1860–1930. Ithaca; L., 2005). При этом концепт Логоса в понимании новой культуры вбирает в себя не только общеполитическое значение, но и более специальное – лингвистическое и поэтическое. В наибольшем масштабе этот «поворот к Логосу» выразился в творчестве и поэтике А. Белого. Как отмечает Т. Зейфрид, Белый совмещает в своей концепции Логоса

² Здесь и далее термин «логос» относится к до-христианскому (со строчной буквы) и не-христианскому его употреблению, а Логос (с прописной) – к христианскому его смыслу. Между тем, поскольку с начала XX в. эти два смысла начали сливаться, по отношению к «повороту к Логосу» в эту эпоху я использую прописной вариант как термин более широкого и общего порядка.

линию А. Потебни (концепция слова как символа) и линию христианского богословия (антропоморфность Логоса). Философия языка А. Белого распространяет это совмещение двух концепций логоса / Логоса на ряд более широких антропоморфных описаний языка – характерным образом акцентируясь на таких темах, как воплощение или смерть и перерождение языка, – которые хотя и лишены отчетливо религиозных значений, тем не менее имеют явную связь с учением о воплощении Христа, которое находится в центре христианской концепции Логоса. Такое слияние религиозных и лингвистических учений приводит и к заглавию программной статьи русской формальной школы «Воскрешение слова» (1914) В. Шкловского, равно как и к множественным метафорам «живого» и «мертвого» слова в русском авангарде. По замечанию С. Кэссиди, в силу такой зыбкости и неоднозначности природы логоса и природы слова, колеблющегося между богословскими и прочими (научными и художественными) значениями, философия языка в России всегда, и в особенности в начале XX в., эксплицитно или имплицитно была связана с теологией и православной логологией (*Cassedy S. Flight from Eden: The Origins of Modern Literary Criticism and Theory. Berkeley, 1990. P. 104*).

«Новая словесность», «революция языка», «разложение слова», «пересоздание грамматики», «семотрясение» и «семиургия», «словотворчество» и «знакотворчество», «поэтическая критика разума», «новое измерение мышления», «становление нового человека» – все это различные обозначения того языкового поворота и логософского переворота, который сопровождал многообразным проявлениям авангардного эксперимента. В совсем недавней работе Д. Л. Шукурова «Концепция слова в дискурсе русского литературного авангарда» (СПб.; Иваново, 2007), защищенной как докторская диссертация, применяется новаторский подход, рассматривающий влияние на отечественную авангардную традицию того контекста эпохи Серебряного века, который был связан с идеей Логоса в русской культуре. Им прослеживается возрождение первозданного Логоса в истории и культуре русского экспериментального мышления, при этом, как отмечается, «типология авангардного слова строится на различной степени участия в его структуре логосных и меональных начал» (с. 285). В нашей же работе судьба Логоса в русской и английской авангардной культуре анализируется с точки зрения философии языка и общей семиотики.

Возникшие на рубеже XIX–XX вв. лингвофилософские и логологические концепции, рассматривающие язык как творческий процесс, а Логос – как словесно-творческий принцип мышления, предопределили не только «языковой поворот» в философии и становление лингвистической поэтики («новой поэтики языка») в XX в., но и пути художественных исканий в новаторской литературе первой половины XX столетия («новый поэтический язык»). Идеи В. фон Гумбольдта, К. Фосслера, А. Потебни, Д. Овсяннико-Куликовского, А. Ветухова, В. Брюсова, А. Белого, Вяч. Иванова, О. Мандельштама сформировали взгляд на язык как на а) действенный *инструмент* художественного и научного творчества; б) самоценный *объект* и *материал* художественного опыта (в области слова такая установка выразилась в формуле В. Хлебникова «Слово – пальцы, слово – лен, слово – ткань»). «Самодеятельность творческой силы языка» (В. фон Гумбольдт) была осознана как новый *научный предмет*, требующий тщательного изучения методами различных дисциплин, и как продуктивный *художественный метод*, открывающий новые возможности выразительности и познания.

Описываемый процесс получил отражение в концепции П. Флоренского об антиномии языка. Антиномия языка, согласно ему, это равновесие двух начал – эргона и энергейи, и это равновесие должно соблюдаться в языковом творчестве. Флоренский осознавал попытки авангардных экспериментов как кризисное явление в эволюции языка. С одной стороны, им критикуются искусственные языки, в большом количестве создаваемые в ту эпоху. Пафос таких философских языков – рациональность, противостоящая природе Логоса: «попытка творить язык, когда он не творится, а сочиняется, – разлагает антиномию языка. Живое противоречие диссоциируется; тогда получает перевес либо сторона *ergon*, либо сторона *energeia*» («Антино-

мия языка»). Другой путь «порчи языка», с точки зрения Флоренского, следует от энергетической природы языка: «Язык стихийен, следовательно, неразумен, и потому надо сочинить свой язык, разумный, – гласит неверие в разумность Слова; язык разумен, следовательно – безжизнен и бессушествен, и потому надо извести из недр своих – новый язык, нутряной, существенный, заумный, – требует неверие в Существенность Слова». Здесь – полемика с языковыми экспериментами футуристов, подвергающих слово лабораторной обработке в поисках нового, более совершенного языка. Характерно для нас здесь не негативное отношение Флоренского к экспериментально-языковым процессам, а сам факт осмысления богословом и философом авангардно-поэтического творчества. И, между прочим, при всем критическом отношении к «порче языка» футуристами, в примерах из будетлянской поэзии Флоренский тем не менее признает наличие логоса, «хотя по-иному, чем в обычной речи», т. е. логоса преобразованного, лабораторного (см. о логологии Флоренского в кн.: *Половинкин С. М. П. А. Флоренский: Логос против Хаоса*. М., 1989).

Наконец, самого большого напряжения пересечение учения о Логосе и языкового эксперимента достигает в творчестве А. Белого, в особенности в его поэме-трактате «Жезл Аарона». Он, так же как и Флоренский, отталкивается от критики футуристических экспериментов, опустошенных, с его точки зрения, от Логоса: «И поэтому для законного слова все звуки природного слова – суть фавны; футуризм языка здесь внушает панический ужас. Наоборот закон, Логос, мертвящим морозом грозит футуризму; слово-лед, слово-пламень, сталкиваясь, рожают лишь пар да туман». Для Белого сущность слова-Логоса выразима лишь в мифе – мифе о слове: «в нем, по-моему, схвачена символика тайных действий, текущих внутри корня слова. Он – слово о слове». В слиянии звуковой природы слова и его логического смысла видится ему «мудрость высшего герметизма»: «Футуризм и логизм (звуки слов, смыслы слов) примиряемы в наши дни не возвратом к природе первично рожденного слова и не возвратом к первично-рожденному мифу, а углублением, обострением антиномии слов до сознания, что место логики не в том плане, где логика положила свое бытие, а в ином, более коренном, – до сознания, что звуковая значимость не есть форма гласящего звука, а – смысл его; может быть в смысле звука и в смысле конкретно-логическом пересечение звука и логики явит подземное слово в дневном своем виде; может быть смысл абстрактного термина зацветет, точно жезл Аарона». Антиномия языка по Флоренскому оказывается, таким образом, снятой в соединении внешнего слова и внутреннего Слова, которое, согласно А. Белому, и рождает новую поэзию Логоса: «... мистика Имени и фонетика Имени – соединяются в нас по-новому в Слово: и это Слово есть Логос, но Логос – конкретный, рождаемый внутренним словом к произнесению вслух; Он распинается в нас на половинках когда-то единого слова, как на страстных перекладах Жизненного креста. Он же – должен воскреснуть, как Разум, чтобы озарить нам поэзию».

Но на А. Белом не заканчиваются поиски совершенного Логоса, с него лишь начинается процесс экспериментации с ним; и весь авангард являет собой одну грандиозную «Лабораторию Логоса».

* * *

Эта книга обязана своему замыслу, созреванию, написанию и появлению некоторым людям, которым хотелось бы выразить здесь благодарность. Прежде всего, моему бессменному и неутомимому наставнику по науке и жизни Ю. С. Степанову. Кроме того, моим строгим, но неизменно благожелательным коллегам по сектору теоретического языкознания Института языкознания РАН, в особенности – В. З. Демьянкову. Моим рецензентам Н. А. Фатеевой и А. Н. Барулину – за внимательное и «понимающее» прочтение работы на стадии диссертации. Все критические и стимулирующие замечания, высказанные в их отзывах, были учтены в дан-

ной работе. Благодаря конференциям, регулярно организуемым Н. А. Фатеевой в Москве и Корнелией Ичин в Белграде, многие положения этого исследования прошли хорошую апробационную школу. С признательностью также хочется вспомнить В. П. Григорьева, до последних дней интересовавшегося вызреванием моего сочинения и, помимо этого, предпославшего к нему остроумный стихотворный эпиграф, который, увы, не сохранился по причинам компьютерного сбоя. Помимо этого, огромное спасибо И. Языкову за любезно предоставленный фрагмент его новой работы «Ярмарка языков», оказавшейся столь созвучной замыслу моей книги, для оформления переплета, и А. Павловскому – за его четкий и чуткий глаз фотографа. И конечно, я в неменьшей степени благодарен своим друзьям и близким за поддержку в моих делах.

Вводные замечания

*Россия не страна, а экспериментальная лаборатория Господа
Бога.*

Николай Бердяев

*Мистики пишут: «Логос,
Это всемогущество. От господ бога-с».*

Владимир Маяковский

*Кто поднимет слово и покажет его времени, как священник
евхаристию, —*

будет вторым Иисусом Навином.

Осип Мандельштам

Монография посвящена вопросам языкотворчества в поэзии и прозе русского и англо-язычного авангарда, а также связи этих проблем с параллельным научным экспериментом в теоретической поэтике и лингвистике. Выполненное в лингвосомиотическом ключе, настоящее исследование опирается на научные данные различных отраслей: лингвистической поэтики (В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, В. П. Григорьев, Л. А. Новиков, О. Г. Ревзина, Н. А. Фатеева), философии языка и философии имени (П. А. Флоренский, Г. Г. Шпет, М. М. Бахтин, В. Н. Волошинов, М. Хайдеггер, Ж. Делёз, Ю. С. Степанов, В. И. Постовалова), семиотической эстетики (А. Ричарде, Р. Якобсон, Я. Мукаржовский, Р. Барт, Н. Гудмен, У. Эко, Ю. М. Лотман), логического анализа языка (Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Н. Д. Арутюнова).

Общая (теоретическая) лингвистика постоянно расширяет свои горизонты и создает новые области исследования. Одной из самых актуальных областей является в настоящее время пересечение лингвистики и теоретического изучения поэтического языка. Смена парадигм в языкознании в сторону все большей антропологизации, направленности на человека говорящего, отвечает сходным процессам в лингвистической поэтике. В последней все большую распространенность получают, с одной стороны, идиостилевые, целостные исследования творчества писателей и поэтов, и с другой стороны, разыскания в области интеридиостилистики, т. е. сопоставления различных индивидуально-языковых систем. При этом в зоне повышенного интереса исследователей в самое последнее время оказываются языковые системы экспериментального характера. В художественном эксперименте как особом случае реализации поэтического языка наиболее остро ставятся все традиционные проблемы лингвистического знания. В основе художественного эксперимента лежит творческий процесс максимального раскрытия языковых возможностей. Кроме того, языковой (лингвопоэтический) эксперимент позволяет осмыслить такие явления, как границы языка и сознания, взаимодействие различных художественных языков, возможность создания единого языка науки и искусства.

Языковой эксперимент понимается в данной работе как речевая деятельность, направленная на художественное и/или научное исследование собственных эстетических и познавательных возможностей. Сферой действия языкового эксперимента может быть не только художественно-литературный опыт, но вообще любые формы интеллектуального творчества: философия, научная поэтика, изобразительные искусства, театральное творчество, музыка. При этом процесс метаязыковой рефлексии может иметь место как в структуре самих произведений искусства, так и в теоретических работах художников.

Учитывая все вышеперечисленные сферы реализации языкового эксперимента, имеет смысл говорить об этом явлении как о междискурсивном, то есть сопряженном с поэтическим,

художественным и теоретическим дискурсами одновременно. Ввиду этого настоящее исследование мыслится как междисциплинарное, затрагивающее такие дисциплины, как общая теория языка, эстетика словесного творчества, философия слова и языка, семиотика творчества.

Изучение художественного языкотворчества, эстетической области словопреобразования призвано заострить некоторые проблемы в учении о языке, в частности ответить на вопрос об эстетических и эвристических потенциях языка, о природе творящего сознания, об особенностях внутренней коммуникации. В связи с тем, что на протяжении многих десятилетий в отечественном языкознании господствовала идеологическая теория языка как отражения внешней действительности, и с тем, что эстетика языкового творчества сводилась к поверхностному идейно-литературному разбору произведений, «лояльных» по отношению к соцреалистическому канону, обращение к теме подобного плана в научной среде было затруднено. Адекватному раскрытию ее препятствовало также общенегативное отношение к авангардной модели творчества, сохраняющее свои позиции и по сей день; равно как и недостаточное накопление информации по соответствующей тематике. Ощущается необходимость изучения проблемы языкового эксперимента в новых ракурсах, с привлечением новых методов, как общенаучных, так и внутри-лингвистических.

В 1910—30-е гг. в отечественной словесности сформировался – одним из первых в мире – особый теоретический подход к языку художественной литературы. В трудах Г. Г. Шпета, Р. О. Якобсона, Б. М. Энгельгардта, Г. О. Винокура, Ю. Н. Тынянова, Б. А. Ларина, В. В. Виноградова и других ученых были выработаны принципы исследования художественной речи как одной из разновидностей языков культуры. Русскими «формалистами» была выделена особая «поэтическая функция языка» (Р. О. Якобсон), проявляющаяся в «рефлексивности слова», в его «обращенности на само себя» (Г. О. Винокур), предполагающая «интровертивное» отношение к вербальным знакам как единству означающего и означаемого. В соответствии с этим поэтика была осознана как отдельная дисциплина, находящаяся на пересечении лингвистики и семиотики (поэтика, по Р. О. Якобсону, это «лингвистическое исследование поэтической функции вербальных сообщений в целом и в поэзии в частности» [Якобсон 1987]), а также лингвистики и эстетики (Г. Г. Шпет: «поэтика есть учение о художественной методологии» [Шпет 1926]; В.М. Жирмунский: «поэтика есть наука, изучающая поэзию как искусство» [Жирмунский 1919]; М. М. Бахтин: «поэтика, определяемая систематически, должна быть эстетикой словесного художественного творчества» [Бахтин 1924], см. [Виноградов 1975; Ито 2003]).

Позднее, в работах В. В. Виноградова, Э. Косериу, В. П. Григорьева, О. Г. Ревзиной и др. была описана специфика «лингвистической поэтики» как особого направления исследований. Поэтический язык стал рассматриваться как реализация возможностей, существующих в «естественном» языке, «поэтическое» стало приравниваться к «языкотворческому». Так, с точки зрения Э. Косериу, в художественной речи происходит преобразование слова, и – шире – преобразование языка [Coseriu 1971]. К такому выводу пришел еще Г.О. Винокур, анализируя языкотворчество футуристов и отмечая, что преобразование языка писателем является следствием особой функции литературы – эстетической, или поэтической [Винокур 1923], см. также новую работу о преобразовании языка в поэтическом тексте [Успенский 2007]. В художественном познании языка видел основную эстетическую особенность языка художественной литературы М. М. Бахтин. Творческое использование языка, согласно Бахтину, «поднимает язык на высший уровень его жизни, в сущности, новый и высший модус жизни языка» [Бахтин 1924: 291]. Язык здесь «приобретает новое качество, новые измерения» [Там же: 292]. В самое последнее время все чаще говорится о «лингвистической эстетике» и «поэтической гносеологии» [Григорьев 2004с; Фещенко 2007; Коваль 2007] того или иного писателя, о своеобразии художественного языка в идиостиле конкретных авторов, см. обобщающий сборник [Лингвистика и поэтика 2007]. Напомним, что еще в 1920-е годы Л. В. Щерба отмечает нарас-

тание интереса лингвистов к «эстетике языка», к тому, что «делает наш язык выразителем и властителем наших дум» [Щерба 1923: 102]. В то же время отмечалось, что «эстетика слова» – дисциплина, которая все еще нуждается в признании; для ее оформления необходимо было, согласно В. В. Виноградову, на первых порах очертить круг материала, задач и методов нового гуманитарного направления [Виноградов 1927: 9].

Теоретические искания русских «формалистов» и «преодолевших формализм» ученых развивались на фоне, а зачастую и в среде, художественного авангарда. Исторические рамки авангардного движения – 1910—30-е гг. [Markov 1968] – в общем совпали с расцветом лингвистического изучения поэтического языка. Поэтическое творчество символистов, футуристов, акмеистов и конструктивистов уже в то время становилось объектом исследования в научной поэтике. Очерки Р. О. Якобсона и Ю. Н. Тынянова о языке В. Хлебникова, В. В. Виноградова – о языке А. Ахматовой и М. Зощенко, Г. О. Винокура – о языке В. Маяковского, В. Б. Шкловского – о языке В. Розанова и А. Белого, В. М. Жирмунского и С. И. Бернштейна – о языке А. Блока, а также О. Мандельштама – о языке Данте и А. Белого – о языке современной поэзии создали традицию изучения новаторского художественного творчества под лингвистическим углом зрения. Эстетика и поэтика языкового творчества стали на некоторое время (до 1940-х гг.) продуктивным направлением в русской филологии. Тогда же взгляд исследователей и поэтов был впервые обращен к эксперименту как методу в поэзии, поэтике и в науке о языке.

Одновременно с мировым экспериментальным движением в поэтическом творчестве (С. Малларме, В. Хлебников, А. Белый, П. Валери, А. Арто, Дж. Джойс, Г. Стайн, С. Беккет, Э. Э. Каммингс, Х.-Л. Борхес и др.) принцип эксперимента вводится в языкознание. В статье Л. В. Щербы «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» (1931) говорится, что «в возможности применения эксперимента и кроется громадное преимущество – с теоретической точки зрения – изучения живых языков <...> В сущности то, что я называл раньше „психологическим методом“ <...> и было у меня всегда методом эксперимента, только недостаточно осознанного. Впервые я его стал осознавать как таковой в эпоху написания моего „Восточнолужицкого наречия“ (<...> 1915), впервые назвал я его методом эксперимента в моей статье „О частях речи в русском языке“» [Щерба 1923: 102]. В этой же статье Л. В. Щерба привлек внимание исследователей к «отрицательному языковому материалу», составленному из «неудачных высказываний с отметкой „так не говорят“» [Там же]. Сходные задачи ставили перед собой лингвисты «женевской школы» (ср. с «грамматикой ошибок» А. Фрея), а также американские представители дескриптивного метода (Л. Блумфильд, З. Хэррис), экспериментально исследовавшие поток речи путем определения дистрибуции элементов речи. Тем самым устремления поэтов авангарда и исследователей-лингвистов обнаруживали много точек соприкосновения. Следует упомянуть также эксперимент в научной поэтике и стилистике, предпринятый в 1910—20-е гг. такими учеными, как Б. И. Ярхо (предложившим, в частности, единый «сравнительно-исторический метод, поддержанный показом и экспериментом» [Гаспаров 1969: 520]), А. М. Пешковский (говорившим о «стилистическом эксперименте <...> в смысле искусственного придумывания стилистических вариантов к тексту» [Пешковский 1927: 29]), А. В. Туфанов (разрабатывавшим «научно-экспериментальный и статистический метод – метод аналогии в расширенном и усовершенствованном виде, т. е. „метод изобретения“» [Из материалов 1996: 115] применительно к фонологии). Эксперименты в области изучения эстетического ритма и эстетической образности предпринимал в 1910-е гг. А. Ф. Лосев [Лосев 2005: 81—103]. В том же ряду стоят попытки самих поэтов начала XX в. теоретизировать поэтический язык, исследовать художественные факты в их системе. Показательными здесь являются работы А. Белого «Лирика и эксперимент», «Поэзия слова» и «Мастерство Гоголя»; В. Маяковского – «Как делать стихи»; О. Мандельштама – «Разговор о Данте», А. Введенского – «Серая тетрадь»; Г. Стайн – «Поэзия и грамматика», Л. Зукофски – «По сути:

О Шекспире» и др. В качестве своеобразного опыта «экспериментального филологизма» (В. П. Григорьев) выступает творчество В. Хлебникова.

С 1940-х по 1980-е гг. в отечественной науке доступ к изучению многих источников по авангарду был закрыт в связи с этим никаких существенных исследований по экспериментальной поэтике, равно как и по художественному языку авангардной литературы, не проводилось (симптоматично утверждение советского филолога Л. И. Тимофеева, что «эксперимент в поэтике невозможен» [Тимофеев 1977: 214]; ср. [Палиевский 1966; Михайлов 1963]).

На Западе, напротив, в этот период возник ряд существенных концепций, так или иначе трактующих вопросы языкового эксперимента в литературе авангарда (П. Валери, Р. Барт, Ю. Кристева, Т. Адорно, Е. Фарино, В. Вестстейн, Дж. Бранз, М. Перлофф). В русской науке лишь в самое последнее время стали появляться работы, освещающие разные стороны языкового эксперимента в литературе авангарда. В их числе необходимо упомянуть имена исследователей: В. П. Григорьева, Вяч. Вс. Иванова, О. Г. Ревзиной, И. П. Смирнова, С. Е. Бирюкова, Н. Н. Перцовой, Н. А. Фатеевой, Л. В. Зубовой, Т. Г. Цвигун, А. Н. Чернякова, И. М. Сахно, Д. Э. Милькова, К. В. Дудакова-Кашуро, Д. Н. Шукурова. Из зарубежных специалистов по данным вопросам необходимо выделить Е. Фарино, О. Ханзен-Леве, Дж. Янечека, М. Грыгара, В. Вестстейна, Д. Ораич-Толич, А. Мешонника, М. Перлофф, П. Квотермена. Однако каждое из исследований упомянутых авторов касается либо только одного выбранного ими автора, либо дает самое общее представление о языковых новациях в литературе русского авангарда. Совсем неисследованной в отечественной науке остается проблематика зарубежного авангарда, в частности англо-американского. Кроме того, не освещенными остаются многие аспекты межязыковых преобразований в русской и англоязычной поэтике авангарда. Настоящее исследование направлено на частичное восполнение этих пробелов.

Материалом предлагаемой монографии послужили поэтические, прозаические и «синтетические» (манифесты, поэтические трактаты, автобиографические материалы) тексты ряда авторов русского и англоязычного авангарда, главным образом А. Белого, В. Хлебникова, А. Введенского, Г. Стайн, Дж. Джойса, написанные ими в период 1910—30-х гг.; а также базовые концепты, «центры семантических сфер» (В. В. Виноградов), лежащие в основе художественных систем указанных авторов. Привлечение этих материалов создает основу сопоставительного исследования поставленных вопросов. Тщательное обследование русскоязычного и англоязычного материала позволяет выявить ряд общих проблем – как лингвистики (в эксперименте с разными языками), так и поэтики (в поэтическом эксперименте со словом). В качестве дополнительных источников нами привлечены теоретические тексты ученых-лингвистов, чьи концепции складывались в указанный временной промежуток, представляя собой параллельное осмысление проблем языкового эксперимента.

Глава 1

«ЯЗЫК КАК ТВОРЧЕСТВО». КРЕАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ЯЗЫКА В ФИЛОСОФИИ, СЕМИОТИКЕ, ЛИНГВИСТИКЕ И ПОЭТИКЕ

*Цель поэзии – творчество языка; язык же есть само творчество
жизненных отношений.*

Андрей Белый

§ 1. «Языковой поворот» и «поворот к Логосу» в философии, семиотике и лингвистике рубежа XIX–XX вв

Рубеж XIX–XX вв. ознаменовал собой кардинальное изменение интересов в самых различных областях знания и творчества. Одной из доминант эпохи стал так называемый языковой поворот, затронувший гуманитарные науки, философию и художественную мысль как в России, так и за рубежом. Впервые о языковом повороте было заявлено на страницах сборника «Лингвистический поворот: статьи о философском методе» под редакцией американского философа Р. Рорти [The linguistic turn 1967].

Однако явление, названное этим термином, затронуло отнюдь не только логико-философскую область, а значительно более широкий ряд научных, художественных и философских практик. А. Н. Барулин в отзыве на нашу работу предложил более общий термин «семиотический поворот». Суть его состоит в том, что в конце XIX – первой половине XX в. представители самых разных направлений в науке и искусстве и даже политике обращают внимание на языковой фактор как на один из главнейших в формировании культуры. Этот промежуток времени характеризуется небывалым вниманием интеллектуальной элиты к языку и другим семиотическим системам; небывалым числом самых разнообразных экспериментов и в языковом строительстве (здесь можно вспомнить огромный по масштабам массовый эксперимент по возрождению иврита – языка, мертвого с I в. по Р. Х., он начался в последней четверти XIX в. и закончился с утверждением его как государственного языка Израиля в сороковых годах XX в., массовый эксперимент по очистке турецкого языка от арабских и персидских заимствований (идет с 1928 г. по инициативе Кемаля Ататюрка), построение литературного норвежского языка нюношк, практически искусственного, эстонского литературного языка и т. д.); а также в строительстве искусственных языков (воляпюк, эсперанто, идо, идиом-нейтраль и др. – последняя четверть XIX в. – начало XX); в массовом экспериментаторском движении в литературах Франции, Англии, России и др. стран; в появлении большого количества течений, так или иначе связанных с языковой проблематикой, в философии и логике; в появлении новых революционных течений в лингвистике (структурализм), литературоведении (формализм), этнологии (структурализм), психологии (фрейдизм); и в массовом строительстве алфавитов для бесписьменных языков, например в России, и т. д. Полный набор этих фактов перечислен в статье [Айхенвальд, Барулин 1988]. По мнению Барулина, в указанный период массового экспериментирования с языками имеет место мощное «семотрясение».

Поворот внимания исследователей во многих дисциплинах и видах искусства к языковой проблематике неслучаен. Он связан с общей переоценкой вековых устоев в научном знании, а также с острой кризисной ситуацией в мировом обществе, индивидуальном быту, художественном мирозерцании. В общекультурном плане логику революционных изменений отра-

жают названия трактатов А. Белого из его цикла «На перевале»: «Кризис жизни», «Кризис сознания», «Кризис культуры», «Кризис мысли», «Кризис слова». Как видно из этого последовательного перечисления, исходной ситуацией, способствующей «революции языка», был кризис самих жизненных отношений в человеческом обществе и внутреннем мире человека. Тогда как кульминационным моментом в этой цепочке служит осознание *кризиса языка* как средства человеческого общения, носителя мысли и материала художественного творчества.

Осознание кризиса языка неизбежно повлекло за собой *критику языка* как особую гуманитарную отрасль. На волне «языкового поворота» в 1910—30-х гг. возник целый спектр гуманитарных направлений под условным названием «философия языка». В рамках данной исследовательской области философии не просто анализировалась взаимосвязь мышления и языка, а выявлялась конституирующая роль языка, слова и речи в различных формах дискурса, в познании и в структурах сознания и знания, см. [Соболева 2005].

Так называемая лингвистическая философия берет начало в идеях Дж. Э. Мура, относящихся к рубежу XIX и XX вв. (его концепцию еще называют «философией здравого смысла»). Философия языка как таковая оформилась в трудах Л. Витгенштейна, М. Хайдеггера и В. Н. Волошинова, посвященных анализу повседневной речи (обыденного языка) и языка поэзии (поэтической речи).

Л. Витгенштейн сосредоточил свое внимание на функционировании языка в естественных условиях коммуникации, на выявлении особой «логики» этого функционирования (поэтому иначе этот подход именуется «логическим анализом естественного языка»). Язык (речевые высказывания и входящие в них языковые формы) в трактовке Витгенштейна выступает в качестве орудия, служащего выполнению определенных задач, именуемых им «языковыми играми». Каждая «языковая игра» как законченная система коммуникации отвечает некоторой «форме жизни». Вполне справедливым считается и обратное: языковые игры в свою очередь втягивают говорящего в определенный смысловой контекст и тем самым язык начинает «манипулировать» человеком.

Уже само увязывание австрийским философом-логиком жизненных процессов и речевой деятельности (языковых форм с формами жизни) отмечает ярко выраженный перелом в представлениях о статусе языка и переход от философствования о жизни к философствованию о языке. Тем самым в философии проявляется «лингвистический уклон» [Грязнов 1991] – поиск лингвистических структур, их выявление и анализ. С этим же связана большая роль языкознания, прежде всего «деятельностной» лингвистики, а также семиотики как науки об универсальных свойствах знаковых систем, в гуманитарной мысли начала XX в.

Если Л. Витгенштейна и Б. Рассела интересуют в первую очередь законы и нормы, которыми оперирует обыденный язык и обыденное сознание, то философская мысль М. Хайдеггера эволюционирует с самого начала в сторону поэтического мышления (причем как по тематической линии, так и по форме самих рассуждений) и художественности языка в поэзии. Размышляя о том, как может быть связан опыт человеческого бытия с опытом человеческой мысли, Хайдеггер призывает вместо вопроса «Что делать?» задуматься о вопросе «Как начать думать?». Вполне в духе лингвистической философии со страниц своей статьи «Поворот» он заявляет: «Потому что думать – значит действительно действовать, если действием зовется содействие существу бытия. Иными словами: готовить (создавать) среди сущего те места для существа бытия, в которых оно говорило бы о себе и о своем пребывании. Язык мостит первые пути и подступы для всякой воли к мысли. <...> Язык – то исходное измерение, внутри которого человеческое существо впервые только и оказывается в состоянии отозваться на бытие и его зов и через эту отзывчивость принадлежать бытию» [Хайдеггер 1993: 254–255]. В этом обращении к языковой проблематике немецкому философу видится существенный «поворот» современной ему мысли и философии.

Вводя свою знаменитую сентенцию «Язык есть дом бытия», М. Хайдеггер поясняет: «Мы существуем <...> прежде всего в языке и при языке» («Путь к языку»). Однако это лишь исходный тезис, маркирующий «языковой поворот» в философии, своеобразную абсолютизацию языка в философской мысли. Необходимо, призывает он, идти дальше – «по пути к языку», к осознанию языка как такового («дать слово языку как языку»). Поэт, согласно Хайдеггеру, и является тем первопроходцем, который идет по этому пути («В жилище языка обитает человек. Мыслители и поэты – хранители этого жилища» («Письмо о гуманизме»). Причем характерно, что поэтический язык рассматривается как первичный по отношению к языку естественному, ибо именно через слово поэта «впервые обнаруживает себя все то, что мы потом обсуждаем и разбираем на языке повседневности» (ср. с тезисами [Coseriu 1971]). Таким образом, «лингвистическая философия» М. Хайдеггера означала не только, по выражению Ю. С. Степанова, «возврат к поискам „сущности языка“» [Степанов 1995: 32], но и прорыв к поискам сущности языка поэтического [Червякова 2008]. В этом – огромное историческое и теоретическое значение Хайдеггера в «языковом повороте» первых десятилетий XX столетия.

* * *

Языковая тематика и проблематика вышли на первый план в описываемый период в самых разных дисциплинах: логике (Ч. С. Пирс, Б. Рассел, Р. Карнап, А. Айер), психологии (Л. Выготский, З. Фрейд, К. Бюлер, Ж. Пиаже), этнологии (Ф. Боас, Э. Кассирер, П. Богатырев), научной философии (Н. Бор, В. Гейзенберг, М. Шлик, К. Гедель, Я. Линцбах) и др. Сама же наука о языке начала дифференцироваться, стремясь в то же время к единому методу лингвистических (семиотических) исследований (Ф. де Соссюр, Р. Якобсон, Л. Ельмслев). Язык стал изучаться, с одной стороны, в отрыве от остальной действительности, как имманентное структурное образование, и с другой стороны – в тесном контакте с действительным миром (например, в трудах Бахтина-Волошинова, Щербы, Сепира-Уорфа). Таким образом, в науке начала XX в. открылась не просто новая парадигма, но *новый формат исследований – формат, определяемый языком*.

Отдельного упоминания в этом ряду заслуживает теоретическая деятельность русской школы «философии имени», представленной такими авторами, как П. Флоренский, А. Лосев, С. Булгаков. Они создали вполне самобытную философию языка, в которой на высоком философском уровне была продумана онтология слова и его отношение к современной научной терминологии и поэтическому лексикону. Причем трактовка природы термина и образа этими мыслителями и сейчас остается актуальной. Каждый из названных авторов по-своему понимал важность обращения к языку как объекту исследования, однако нельзя отрицать и единства их концепций, особенно в части проблемы *символа и имени*.

Понятие *символа* – главный элемент философской системы П. Флоренского. «Хотя Флоренский (примерно в одно время с Соссюром) развивал введенное в средневековой логике вслед за Св. Августином различие между „символизируемым“ („означаемым“ Соссюра, средневековым логическим *signatum*) и „символизирующим“ („означающим“ Соссюра, средневековым логическим *signans*), для него две эти стороны „символа“ („знака“ Пирса и Соссюра, средневекового логического *Signum*) были тесно связаны друг с другом (в большей мере, чем это предполагалось в других семиотических теориях этого времени). Флоренский (в соответствии с общей идеей целостности) подчеркивал целостный характер символа как в общесемиотических, так и в специальных лингвистических своих сочинениях. Например, в слове, рассматриваемом им как характерный пример символа, разные уровни (на введении которых он настаивал, как и Шпет в „Эстетических фрагментах“) не должны быть отделены друг от друга <...> Объясняя основное свойство символа, заключающееся в том, что он больше сам себя <...>, Флоренский утверждает, что слово отвечает этому определению символа и при этом

удвоенным образом, потому что в нем можно видеть одновременно объект и субъект познания» [Иванов 1999: 709–710].

В спектре познавательных отношений слово, согласно П. Флоренскому, служит «органом самопроизвольного установления связи между познающим и познаваемым». «Слово – молния. Оно не есть уже ни та или другая энергия порознь. Ни обе вместе, а – новое, двуединое, энергетическое явление, новая реальность в мире». И «слово есть познающий субъект и познаваемый объект, – сплетающимися энергиями которых оно держится». Слово – это «мост между Я и не-Я». «Рассматриваемое с берега не-Я, т. е. из космологии», слово – «деятельность субъекта, а в ней сам субъект, вторгающийся в мир», и «слово есть сам говорящий». Рассматриваемое с берега Я, «слово это самый объект, познаваемая реальность, чрез слово мы проникаем в энергию ее сущности, с глубочайшей убежденностью постигнуть тем самую сущность» [Флоренский 2000б, 2: 261–262]. В этом, по Флоренскому, символическая природа слова и языка, чудодейственная природа логоса: «Плод кудеснического акта – идеальное и реальное зараз, идеал-реальное, субъект-объективное, Я и не-Я, – короче – слово, λόγος, – новое, мгновенное состояние действительности, встающее пред кудесником в творческом экстазе и затем, с увяданием восторга, умирающее и распадающееся» [Флоренский 2000а, 1: 158]. Тем самым проблематика логоса-слова вводится в становящуюся энергийную философию языка. Добавим, что приписывание слову и – шире – языку субъективных свойств является характерной чертой времени в языковедческих штудиях начала XX в.

Принципы симвонологии (семиотики символа) переносятся П. Флоренским даже на такие «экзотические», казалось бы, области, как физика. Идея науки как символического описания была развита им в статье с одноименным названием, написанной в 1918 г. и включенной в цикл «У водоразделов мысли» как первая глава части, посвященной отношениям между языком и мыслью. Основной идеей работы было представление физики как языка, к которому относятся и языковые антиномии. Изложив антиномическое понимание слова и речи в языке, образа-символа и описания в физике, Флоренский заключает: «то, что говорится о языке вообще, дословно повторяется и о физике в частности. Под обоими углами зрения, физика есть ничто иное, как язык, и не какой-нибудь, не выдуманный, а тот самый язык, которым говорим мы все, но только ради удобства и выгоды времени, – в известной обработке» [Флоренский 2000а, 1: 116–117]. Вяч. Вс. Иванов справедливо соотносит эту точку зрения с пониманием математического языка как усовершенствования обычного языка у Н. Бора, а также логического языка науки в работах Р. Карнапа [Иванов 1999: 718–720].

Вывод о том, что физика есть язык, П. Флоренский дальше использует и применительно к другим наукам. Он полагает, что «общее основано начало всех наук – именно то, неотделимое от существа их, что все суть описания действительности. А это значит: все они суть язык и только язык» [Флоренский 2000, 1: 118]. Философия, далее, есть тоже особым образом организованный язык. Наука и философия как различные «уклоны словесной деятельности» (подчеркнем особо: не просто «формы знания» или «виды деятельности») суть «две руки одного организма языка». Здесь просвечивает еще одна особенность нового языковедения XX в., а именно – представление о многообразном единстве языка (языков).

В центре филологической теории П. А. Флоренского – вопрос об имени. Утверждая, что наука есть язык, оперирующий терминами, русский философ в аналогичном ключе высказывается о художественном творчестве, с той существенной разницей, что поэзия есть язык, оперирующий образами, а точнее, именами. Если в научном описании каждое имя – нарицательное (термин), то в поэтической речи каждое имя – это имя собственное (личностная форма): «в литературном творчестве имена суть категории познания личности, потому что в творческом воображении имеют силу личностных форм». Как говорится в трактате «Имена», «поэзия, и письменная, и изустная, держится на именах», а произведение есть «пространство силового поля соответственных имен» [Флоренский 2000, 2: 184]. Имя представляется здесь

как средоточие логоса, как «узел бытия, наиболее глубоко-скрытый нерв его; имя, – думали древние, – сущность, сперматический логос объекта, внутренний разум-сущность, субстанция вещи» [Там же: 162]. Имяславие и симвонология Флоренского исходит из древней традиции логологии и одновременно учреждает новое учение *о логосе* как *словотворческом начале*. Ниже мы вернемся к этому его достижению авангардной поэзии.

Философия имени П. Флоренского зиждется на тезисе о том, что имя зависит от сущности именующего и именуемого. Это означает, что исходно на первом плане стоит вопрос о связи имени с его носителем. Таким образом, важнейшей особенностью философии имени в России становится ее онтологическое основание. Имя как элемент языка и сам язык как духовный организм мыслятся не только в виде явлений – что было свойственно всей предшествующей языковедческой мысли – но и виде сущностей. В этом, к тому же, состоит, по мысли П. Флоренского, важная «антиномия языка»: «Слово есть самая реальность, словом высказываемая, – не то чтобы дублет ее, рядом с ней поставленная копия, а именно она, самая реальность в своей подлинности, в своем нумерическом самотождестве. Словом и через слово познаем мы реальность, и слово есть самая реальность» («Строение слова»). Поворот, как видим, здесь осуществляется к онтологическим, глубинным структурам языка и сознания.

Идея *о слове как энергии*, имеющая своим истоком, в частности, понимание языка как энергии в концепции В. фон Гумбольдта, наиболее последовательно была развита в учениях С. Н. Булгакова и А. Ф. Лосева: у последнего – с привлечением непосредственного лингвистического материала.

Четкое понимание центрального положения языка в системе человеческих знаний – «человеческое познание совершается в слове и через слово, мысль неотделима от слова» – выразилось в философии имени С. Н. Булгакова в стремлении поставить и решить проблему максималистски: «Это вопрос не о генезисе и не о становлении, но сущности, о τὸ ὂν τοῦ ὀνόματος слова» («Философия имени»). Поиск «сущностного» инварианта многоязычной человеческой речи – «внутреннего языка», «внутреннего слова» и его места в отношении к миру – в философии языка Булгакова во многом предопределен. Он выводится как бы из облака конкретных дисциплин, занимающихся словом: лингвистики, логики и философии – и решается в надмирных высотах, на рубежах указанных наук. «Слово – это первоэлемент мысли», «не мы говорим слова, но слова, внутренне звуча в нас, сами себя говорят», «в них мир говорит о себе» – эти постулаты весьма характерны для типичного мыслителя или художника конца XIX – начала XX в. (ср. у С. Малларме: «Мысль помыслила саму себя»; у М. Хайдеггера – «Не мы говорим на языке, а язык говорит через нас»). Самобытность (по Хлебникову – «самовитость», по Малларме – «самородность») слова согласуется с исконным символизмом языка, заново открываемым в начале нового столетия.

Онтологизация языка, слова и имени играет центральную роль в концептуальной установке А. Ф. Лосева. Подобно другим «философам имени», он акцентирует внимание на ключевом значении словесной деятельности в человеческом творчестве: «тайна слова заключается именно в общении с предметом и в общении с другими людьми <...> Оно – мост между „субъектом“ и „объектом“ <...> таит в себе интимное отношение к предмету и существенное знание его сокровенных глубин <...> Имя предмета – арена встречи воспринимающего и воспринимаемого, вернее, познающего и познаваемого. В имени – какое-то интимное единство разъятых сфер бытия» («Философия имени»). Большую часть своих философских изысканий Лосев посвящает подробному описанию предметной структуры имени.

Конечным пунктом его размышлений является тезис о том, что «слово есть вещь», но и «вещь есть слово»: «Слово, имя вещи, взятые как идея, суть выражение и понимание вещи; или вернее, идея и есть сама вещь, но данная в своем максимальном присутствии в инобытии. Имя, слово вещи есть разумеваемая вещь, в разуме явленная вещь, вещь как разум и понятие, как сознание и, следовательно, – разум, понятие и сознание как вещь». Поэтому не лишенным

логики кажется переход философии имени к столь радикально-логицистской позиции, гласящей, что «вселенная, мир – это разная степень слова»: «Если сущность – имя и слово, то, значит, весь мир, вселенная есть имя и слово, или имена и слова. Все бытие есть то более мертвые, то более живые слова. Космос – лестница разной степени словесности. Человек – слово, животное – слово, неодушевленный предмет – слово. Ибо все это – смысл и его выражение. Мир – совокупность разных степеней жизненности или затверделости слова. Все живет словом и свидетельствует о нем» («Философия имени»).

Сходная мысль и сходная логика содержится в размышлении Г. Г. Шпета о природе слова: «Слово есть не только явление природы, но также принцип культуры. Слово есть архетип культуры; культура – культ разума, слово – воплощение разума. <...> Что такое „одно“ слово или „отдельное слово“, определяется контекстом. <...> „Ход“ есть отдельное слово, также „пароход“, также „белый пароход“, также „большой белый пароход“, также „явужубольшой белый пароход“ и т. д. Синтаксическая „связь слов“ есть также слово, следовательно, речь, книга, литература, язык всего мира, вся культура – слово. В метафизическом аспекте ничто не мешает и космическую вселенную рассматривать как слово. Везде существенные отношения и типические формы в структуре слова – одни» [Шпет 1922: 380–381].

Необходимо помнить, разумеется, что в русской традиции описываемого периода термин слово зачастую отсылает к понятию «языка», «речи». Такая особенность объясняется просто: «слово» в исконном смысле означает λόγος; последнее же, в свою очередь, издревле означало и «слово», и «язык», и «мысль», и многое другое сразу (ср., в то же время, попытку со стороны лингвистики определить понятие «отдельного слова»: [Пешковский 1925]).

* * *

Религиозно-философские концепции языка школы «философии имени», разрабатываемые в трудах П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова, А. Ф. Лосева и др. в совокупности охватываются названием «теантропоцентрической парадигмы постижения языка». Эта парадигма сознательно ориентируется на следование идеалу цельного знания, философии всеединства. При всей непохожести творчества каждого из представителей данной парадигмы и их конкретных воззрений на язык, «всех этих мыслителей», отмечает В. И. Постовалова, «объединяет ряд исходных лингвофилософских и лингвобогословских идей, а также общемировоззренческих установок, позволяющих говорить о некой общей концепции языка, развиваемой в трудах этих мыслителей, и о приверженности их к единой парадигме исследования языка и единой исследовательской программе» [Постовалова 1995: 344]. Концепция языка, общая для всех трех мыслителей, относится Постоваловой к «лингвистической ветви всеединства» и называется ею «энергийно-ономатической по имени ее центральной категории – имени (слова) и ее онтологической трактовки – энергетической» [Там же: 375–376].

Действительно, общность исходных установок, а также сходство теоретических решений в языковедческой области, позволяет говорить и об общей концепции языка. Любопытно отметить и то, что генезис этой общности подтверждает данную мысль. Историческим основанием этого сходства служит тот факт, что все три мыслителя были сторонниками имяславческого движения. Свои концепции они основывали как раз на спорах об Имени Божьем, имевших место в России в 1910–20-х гг. Это обстоятельство выделяет русскую школу философии языка из мирового контекста, служа дополнительным указанием на конвергентность лингвофилософской мысли в рассматриваемый исторический период [Осука, Кибе 2001]. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и обратное – концепции Флоренского, Булгакова и Лосева возникли под прямым воздействием общемирового философского интереса к языку, о котором было сказано выше. Так или иначе, сполна уместными и адекватными нам кажутся характе-

ристики русской «философии языка», приводимые В. И. Постоваловой. Выделим среди них лишь те, которые относятся к собственно языковой стороне вопроса:

- Признание центрального характера лингвистического компонента всеединства – трактовка имени и слова как универсальной основы «всего» и попытка описывать имя и слово (язык) на той же универсальной основе парадигмы всеединства, что и другие области бытия, и даже внутреннее устройство Самого Абсолюта;
- Значимость лингвистической компоненты всеединства, факт пронизанности «всего» именем и словом связывается с тем, что прообразом имени и именования признается Имя Божие, которое «проникает собой все» – содержит в себе все имена;
- Стремление распространить на трактовку языка (слова, имени) осмысление духовного опыта имяславия;
- Рассмотрение языка (слова, имени) в максимально широком экзистенциальном и понятийном – теоантропокосмическом – контексте (Бог, человек, мир);
- Рассмотрение человеческого слова и имени только как момента и образа более широко трактуемого слова и имени;
- Онтологизм и реализм в понимании природы языка (слова, имени);
- Энергетическая трактовка природы имени (слова, языка);
- Опора на общую лингвофилософскую традицию – учение о языке Платона, Гумбольдта, Потебни [Постовалова 1995: 379–381].

Итак, русская традиция наиболее явным и систематическим образом демонстрирует «языковой поворот» в гуманитаристике начала XX в. Н. К. Бонецкая предпочитает говорить даже не о «повороте», а о «скачке» в русском философском языкознании, замечая: «На рубеже XIX–XX веков представление о знании перерождалось. Такой реакцией на позитивизм были и труды Флоренского, а также близких ему крупных философов С. Н. Булгакова и В. Ф. Эрна; отчасти примыкал к ним молодой Лосев. Именно этот переход – от знания позитивного к знанию глубинному – мы имеем в виду, когда говорим о скачке, который претерпела русская мысль. Отразился он и в философии языка» [Бонецкая 1995: 259].

В русской духовно-филологической традиции языковой поворот принял форму поворота к Логосу. Вероятно, именно поиски «глубинного знания» являлись чертой, отличающей П. Флоренского, А. Белого, Г. Шпета, М. Бахтина, А. Лосева от магистральной линии «языкового поворота» за рубежом (впрочем, проблески такого подхода встречаются даже у таких «строгих» языковедов, как Л. Витгенштейн и Э. Гуссерль). Данная традиция – еще не до конца осознанная и едва описанная сейчас – могла бы получить название «глубинной семиотики», или «семиотики внутреннего человека», отражая основной вектор изучения языковых явлений – вовнутрь, к глубинным структурам языка. Верно, на наш взгляд, предположение о том, что «философия имени» дала «импульс языкознанию будущего – науке, которая пересмотрит свои послышки, движимая стремлением ответить на законнейшие вопросы, стремящаяся к последней глубине, доступной знанию» [Там же: 278]. Обращение к реанимированному понятию логоса / Логоса способствовало нахождению ответов на вопросы, которые уже не могла разрешить позитивистская парадигма в языкознании и философии.

* * *

Соотношение *мысли, сознания и языка* стало, наверное, главной проблемой философии языка и научного языкознания 1910–30-х гг. (см. сборник [Langage et pensée 2008]. Будучи

заявленной в работе А. А. Потебни «Мысль и язык», эта проблема получила освещение в трудах П. А. Флоренского «Мысль и язык», А. Белого «Мысль и язык (философия языка А. А. Потебни)», Л. С. Выготского «Мышление и речь», А. Р. Лурия «Язык и сознание», а также в работах французских ученых Ж. Пиаже «Речь и мышление ребенка» и Ф. Брюно «Мысль и язык» и т. п. Параллельно в зарождавшейся на тот момент официальной советской лингвистике также возникал интерес к соотношению мышления и языка, выразившийся в книге Н. Я. Марра «Язык и мышление», одноименных сборниках под его редакцией и, наконец, в названии главного советского научно-исследовательского института языкознания (Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра). На взаимовлиянии языка и сознания строится и возникающее в то время гипотеза Сэпира-Уорфа. Отчего на совершенно различных научных и идеологических платформах возник вдруг интерес к подобным темам?

По замечанию В. В. Библихина, называющего этот поворот «новым номинализмом», «прежнему, показавшемуся слишком наивным отнесению слова к вещи был положен конец. В языке увидели прослойку между субъектом и миром, привязка слова к вещи стала делом мысли» [Библихин 2002: 22]. С равным успехом данный поворот можно было бы назвать и «новым реализмом»: вещам заново возвращался их идеальный смысл; слово, в свою очередь, приобретало атрибуты вещи (ср. с гуссерлевским «Назад, к самим вещам!» и в то же время у Флоренского – «Слово есть сама вещь»). Скорее всего, и то и другое верно: новый реализм вполне уживался с движением к новому номинализму.

Важнее, однако, для нас тот факт, что действительность и мышление стали описываться в терминах *знаков*. Не случайно именно к тому моменту возникает расцвет концепции Ч. С. Пирса, рассматривающего разные виды и функции знаков; а наследующая Пирсу теория У. Морриса трактует всю знаковую реальность в терминах трех измерений (как раз отражающих три основных вида отношений: слова к вещи, слова к слову и слова к субъекту). В этом же русле формируется и концепция Г. Фреге о связи вещи, слова и понятия в сознании говорящего индивида. Свои семиотические концепции развивают в это же время в разных концах мира Ф. де Соссюр, К. Бюлер, К. Огден и А. Ричарде. В России же оригинальное учение о знаке и смысле формулируется философом Г. Г. Шпетом, основной труд которого «Язык и смысл» 1920-х гг. будет опубликован лишь в 2005 г. [Шпет 2005] (см. [Фещенко 2008b]). В те же годы русский лингвист Л. В. Щерба симптоматично сетует, что современное языкознание «потеряло из виду язык как живую систему знаков, выражающих наши мысли и чувства» [Щерба 1923: 100]. Закономерным поэтому выглядит повышение интереса языковедов к «живому языку как данному в опыте явлению, к живому процессу речи, к синтаксису и семантике» [Там же: 102]. Этот интерес выражался не только в конкретных лингвистических исследованиях, но и принимал институционализированные формы, например, в учреждении журнала «Голос и речь» и образовании целого Института живого слова³. Как отмечает И. Иванова, Институт был попыткой объединения «живого слова» как нового объекта научных исследований с «живой речью» – Логосом как главным предметом рефлексии в русском авангарде⁴.

С полной уверенностью можно сказать, что рассматриваемый период – время тотальной семиотизации действительности и одновременно время рождения семиотики как дисциплины, будь то семиологические доктрины Ф. де Соссюра, Ч. С. Пирса в интерпретации их последователей, философская семиотика Э. Кассирера, Г. Г. Шпета и В. Н. Волошинова или семасиология

³ См. о нем: *Vaccena P.* К реконструкции истории деятельности Института живого слова (1918–1924) // Новое литературное обозрение. № 86. 2007; *Ivanova I.* Le rôle de / *Institut Zivogo Slova* (Petrograd) dans la culture russe du début du XX^{ème} siècle // *Langage et pensée: Union Soviétique années 1920–1930. Cahiers de l'ILSL*, n° 24, 2008.

⁴ *Ivanova I.* Op. cit. P. 164.

А. Марти и И. А. Бодуэна де Куртенэ. Изменяется, выражаясь терминами М. Фуко, «эпистема», а вместе с ней и «порядок дискурса». Язык как знаковая система *par excellence* становится полноценным *объектом* исследования (в лингвистике и семиотике), преимущественным *предметом* рефлексии (в философии), действенным *инструментом* открытия знаний (в гуманитарных и естественных науках), а также самостоятельным субъектом художественного творчества (в экспериментальном искусстве). Таким образом, язык оказывается необходимым посредником для всякого познания (научного, философского, художественного), которое стремится выразить себя дискурсивно.

Индивидуализация языка как объекта изучения ведет к тому, что изменяются *принципы* лингвистического исследования. Так, возникает интерес к забытой со времен античности практике толкования текстов. При этом, как отмечает М. Фуко, новая филология «посвящает себя весьма странному роду толковательства: оно движется не от констатации существования языка к раскрытию того, что он означает, но от явственного развертывания дискурсии к выявлению языка в его собственном бытии» [Фуко 1994: 323]. Подобным стремлением отмечены все новые концепции языка XIX в.: от В. фон Гумбольдта с его поисками «духа языка» – до толкования анаграмм в древних текстах Ф. де Соссюром.

В современном мышлении, согласно М. Фуко, новые методы интерпретации начинают соседствовать (и соперничать) с новыми методами формализации: первые – с претензией заставить язык говорить из его собственных глубин, приблизиться к тому, что говорится в нем, но без его участия (герменевтический и феноменологический подход); вторые – с претензией контролировать всякий возможный язык, обуздывая его посредством закона, определяющего то, что возможно сказать (структуральный и математический подход). Интерпретация и формализация становятся двумя основными формами анализа, направленными, соответственно, на исследование плана содержания и плана выражения, означаемого и означающего. На этой же волне возникает тема соотношения языка и сознания, а также языка и бессознательного. Этим, по Фуко, объясняется двунаправленное движение начала XX века и к формализму мысли, и к открытию бессознательного – к Расселу и Фрейду. «Этим объясняется также и тяга обоих направлений к сближению и взаимопересечению: например, стремление выявить чистые формы, которые еще до каких-либо содержаний налагаются на бессознательное, или же попытки дискурсивно выразить почву опыта, смысл бытия, жизненный горизонт всего нашего познания. Именно здесь структурализм и феноменология с их несхожими структурами обретают общее пространство, определяющее их *общее место*» [Там же: 323].

В свете темы настоящего исследования важен еще один тезис, выводимый М. Фуко из проблематики «языкового поворота». Именно на почве новой языковой эпистемологии зарождается экспериментальное искусство, литература авангарда (называемая Фуко, в соответствии с французской традицией, «письмом»). Правда, истоки этого движения относятся им к началу еще XIX в., ко времени возникновения самого понятия «литература»: «Именно в начале XIX века – в то время, когда язык как бы погружался в свою объектную толщу и позволял знанию пронизывать себя насквозь, – он одновременно восстанавливал самое себя в другой области и в другой самостоятельной форме – едва доступной, сосредоточенной на загадке своего происхождения, всецело соотносенной с чистым актом письма. Литература бросает вызов своей родной сестре – филологии: она приводит язык от грамматики к чистой речевой способности, где и сталкивается с диким и властным бытием слов» [Там же: 324]. О том же повороте, только в русском контексте, свидетельствует и русский лингвист Л. В. Щерба, фиксируя, что «поэты, для которых язык является материалом, стали более или менее сознательно относиться к нему; вслед за ними пошли молодые историки литературы, которые почувствовали невозможность понимания многих литературных явлений без лингвистического подхода; наконец, люди сцены, для которых живой произносимый язык является альфой и омегой их искусства,

едва ли не более других посодействовали пробуждению в обществе интереса к языку» [Щерба 1923: 102].

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.